



**В. АЛЕКСАНДРОВ**

## **К вопросу об антидарвинизме Набокова, или Почему в «Даре» обезьяны питаются бабочками**

Отнюдь не являясь всего лишь эксцентричным хобби или чем-то, дополняющим занятие писательством, страстное увлечение Владимира Набокова бабочками, длившееся всю жизнь, органически связано с основными мотивами его творчества. Собирание бабочек и писательство были тесно связаны для Набокова, так как от этих занятий он получал удовольствие, которое называл «самым сильным из всех, известных человеку», и период с 1941 по 1948 год, когда он классифицировал бабочек в Гарвардском музее сравнительной зоологии, писатель вспоминал как один из самых счастливых периодов своей жизни<sup>1</sup>.

Для Набокова связь между творчеством и бабочками основывается на его концепции мимикрии в природе<sup>2</sup>. Он категорически отвергает предлагаемое наукой стандартное, или дарвинистское объяснение миметического поведения насекомых, согласно которому в борьбе за существование насекомому полезно быть похожим на что-то другое (другое существо, возможно, неприятное на вкус, или лист, или какой-то неодушевленный объект) по той простой причине, что это может обмануть хищников. Ключ к пониманию набоковского неприятия Дарвина — его убеждение в том, что степень обмана, которую можно наблюдать в конкретных случаях мимикрии, сильно

<sup>1</sup> См., напр.: *Nabokov V. Strong pinions.* New York, 1973. Р. 3; *Nabokov V. Speak, Memory.* New York, 1966. Р. 125—126.

<sup>2</sup> Более подробно см.: Александров В. Е. Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика. СПб., 1999. С. 26—28, 60—62, 274—277.

превышает относительно грубые (как представляется Набокову) способности зрительного восприятия животных-хищников и, в сущности, свидетельствует о такой эстетической утонченности окраски, строения поверхности и движений, которой можно найти только эстетическое объяснение: «“Естественный подбор” в дарвиновском смысле не может служить объяснением чудотворного совпадения подражания внешнего и подражательного поведения; с другой же стороны, и к “борьбе за существование” апеллировать невозможно, когда защитная уловка доводится до такой точки миметической изощренности, изобилии и роскоши, которая находится далеко за пределами того, что способен оценить мозг врага»<sup>3</sup>. Более того, этот взгляд Набокова распространялся на все естественные явления, а также на искусство: «Все искусство — это обман, так же как и природа; все обман в этом добром мошенничестве — от насекомого, которое притворяется листом, до ходких приманок размножения»<sup>4</sup>.

Важное следствие понимания мимикрии Набоковым, отвергавшим устоявшиеся представления о ней, — отрицание материалистического детерминизма, который лежит в основе теории эволюции Дарвина, особенно в случае ее применения к человеку. Он высмеивал идею о том, что «борьба за существование» могла привести к какому бы то ни было эволюционному прогрессу, потому что «проклятие труда и битвы ведет человека обратно к кабану, к хрюкающей твари, одержимой поисками еды» (V, 573). Вместо этого Набоков видит в природе те же самые «бесполезные упоения, которых искал в искусстве. И та и другое суть формы магии, и та и другое — игры, полные замысловатого волхвования и лукавства» (V, 421)<sup>5</sup>.

Хотя набоковское отрицание Дарвина является попыткой свергнуть с пьедестала материалистическую причинность, он на самом деле не выдвигает ни в какой форме принцип бесцельной свободной игры в мире природы. Ведь если природа во всем так же обманчива, как и искусство, тогда какая-то действующая сила должна была сотворить природу, и, следова-

<sup>3</sup> Набоков В. Память, говори // Набоков В. Собр. соч. американского периода: В 5 т. СПб., 1999. Т. 5. С. 421. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

<sup>4</sup> В. В. Набоков: pro et contra. СПб., 1997. С. 140.

<sup>5</sup> Nabokov V. Speak, Memory. Р. 298, 124. См. также: Boyd B. Vladimir Nabokov: The American Years. Princeton, N. J., 1991. Р. 37.

тельно, ее искусственность, — доказательство существования Творца, который стоит за пределами средства выражения. В сущности, как в своих дискурсивных работах, так и в художественных произведениях Набоков постоянно, подолгу и в самой разнообразной форме возвращается к теме таинственной «потусторонней» силы, которая, кажется, является создателем всех природных явлений, включая пророческие узоры, оттиснутые на существовании человека<sup>6</sup>. Это интуитивное знание лежит в основе оригинального набоковского толкования понятий «природа» и «искусственность», которые для него являются синонимами, а не антонимами. Поэтому часто бросающаяся в глаза металитературность его художественных произведений — то, что они различными путями привлекают внимание к самим себе как к чему-то сделанному, — является, как ни парадоксально, следствием его своеобразного понимания естественного.

Нигде в своем художественном творчестве Набоков так подробно не обращается к этим привлекавшим его аспектам лепидоптерологии, как в романе «Дар», который он называл своим любимым русским романом и в котором рассказывается о писателе, во многих отношениях напоминающем самого автора<sup>7</sup>. И именно здесь мы найдем особенно интересный и яркий вариант набоковской полемики с дарвинизмом.

С самого начала наибольшее количество разногласий вызывало утверждение Дарвина, что отдаленными предками людей были приматы, от которых также произошли обезьяны. Хотя в принципе отсюда можно прийти к выводу о том, что человек — венец творения, чаще всего этим утверждением пользовались для того, чтобы свергнуть человеческий род с пьедестала и указать, что человек — только одно из звеньев в длинной цепи эволюции млекопитающих.

В «Даре» Набоков атакует эту теорию через своего героя, Федора Годунова-Чердынцева, который вспоминает, что рассказывал ему о чудесах мимикрии бабочек отец, знаменитый натуралист и исследователь. Федор предвосхищает то, что будет высказано позднее в «Память, говори», где Набоков рассуждает о «невероятном художественном остроумии мимикрии, которая не объяснима борьбой за жизнь». Затем он замечает, что миметическое поведение «словно придумано забавником-живописцем как раз ради умных глаз человека», и добавляет

---

<sup>6</sup> См.: Александров В. Е. Набоков и потусторонность... С. 56—62.

<sup>7</sup> Там же. С. 132—165.

в скобках, что это — «догадка, которая могла бы далеко увести эволюциониста, наблюдавшего питающихся бабочками обезьяны»<sup>8</sup>. Образ, небрежно созданный в этом замечании в скобках, — довольно гротескный, но его смысл тем не менее понятен: обезьяны, похоже, принципиально отличаются от людей в эволюционном смысле, потому что, когда они смотрят на бабочек, они не видят того, что могут увидеть люди. Другими словами это можно выразить так: человек — уникален, так как он воспринимает природу эстетизированно. Набоков намекает на то, что биологи-еволюционисты недостаточно обдумали следствия этой возможности.

Оказывается, что образ обезьян, питающихся бабочками, — не плод прихотливого воображения Набокова, а, возможно, намек на знаменитый эксперимент, проводившийся в Африке в начале XX века известным английским энтомологом, Дж. Д. Хейлом Карпентером, который специально задался целью найти эмпирическое подтверждение дарвиновскому объяснению мимикрии. Натуралисты впервые описали мимикрию у бабочек через несколько лет после публикации «Происхождения видов» в 1859 году, и они быстро причислили это явление к тем, которые поддерживают эволюционную теорию Дарвина, так что мимикрия бабочек и дарвинизм с тех пор были тесно связанны<sup>9</sup>. Таким образом, эксперимент Карпентера был сознательно направлен на то, чтобы найти дополнительное подтверждение одному из первых важных эмпирических «доказательств» теории Дарвина, и набоковское замечание в скобках об обезьянах оказывается тщательно направленным ударом по хорошо известному положению дарвинизма.

Карпентер сделал следующее: он просто отметил, с какой готовностью две молодые обезьяны поедали различных насекомых, включая бабочек, которых он клал перед ними. Он обнаружил, что обезьяны избегали насекомых, как он выразился, с «апосематической», или предупреждающей, окраской, которая своей яркостью «оповещает», что насекомые могут иметь

<sup>8</sup> Из русского оригинала этого важного заявления в скобках более, чем из английского перевода, понятно, что Набоков, в сущности, подчеркивает нереализованную возможность сделать далеко идущий вывод из этого явления: «догадка, которая могла бы далеко увести эволюциониста, наблюдавшего питающихся бабочками обезьян» (Курсив мой. — В. А.); Набоков В. Дар // Набоков В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 3. С. 100.

<sup>9</sup> Carpenter G. . H. and Ford E. B. Mimicry. London, 1933. P. 5.

неприятный вкус, однако с готовностью поедали насекомых с «прокриптической», или защитной, окраской, когда последних переносили в такое окружение, где их можно было легко заметить. Карпентер заключил, что «вся теория мимикрии обусловлена выбором определенного вида пищи в предпочтение другим». Таким образом, следуя этой аргументации, можно сказать, что прокриптически окрашенные насекомые развиваются в качестве маскировки некоторые поверхностные черты путем случайных генетических изменений и сохраняют и усиливают эту маскировку путем естественного отбора; чем более успешна маскировка вида, тем больше шансов на то, что его потомство выживет и будет процветать<sup>10</sup>.

Поскольку Набоков увлекся бабочками и начал много читать о них еще в раннем детстве и, очевидно, очень интересовался скрытым смыслом мимикрии, кажется весьма вероятным, что к тому времени, когда он писал «Дар» в 1935—1937 годах, он знал об опыте Карпентера и его выводах, впервые опубликованных в 1921 году. Но в то время как Карпентер заключил, что маскировка — необходимая защита для тех насекомых, которые иначе были бы съедены в естественных условиях, Набоков сделал нечто вроде хода конем с данными Карпентера: он перешел на нематериалистический уровень размышлений и, исходя из поведения обезьян, сделал вывод о том, что человеческое сознание — явление совсем другого порядка, нежели сознание животных, произведенных теорией Дарвина в дальних родственников человечества.

Это признание привилегированного положения человеческого сознания находится в полной гармонии с тематикой и формальными построениями «Дара» (да и всего художественного творчества Набокова). Художественное вдохновение Федора, острота его восприятия, преодоление времени с помощью памяти, способность увидеть творческий замысел в природе и пророческий узор в жизни, а также интуитивные прозрения бес-

---

<sup>10</sup> Дж. Д. Хейл Карпентер, ставший профессором зоологии (энтомологии) в Оксфорде в 1933 году, описал свои эксперименты в нескольких публикациях, в частности в статье, помещенной 8 октября 1921 года в журнале «Transactions of the Entomological Society of London» (Набоков, должно быть, знал этот журнал) и в двух книгах: 1) «A Naturalist in East Africa» ( xford: Clarendon, 1925) 2) совместно с Е. В. Ford «Mimicry», а также в брошюре «Insects as Material for Study: Two Inaugural Lectures delivered on 17 and 24 November 1933» ( xford: Clarendon, 1934), откуда и взята цитата, приведенная в этой статье (Р. 24).

смертия — все это возможно только благодаря его максимальному развитому сознанию. Точно так же, характерные формальные и стилистические особенности «Дара» — загадки, ложные подсказки, скрытые аллюзии, завуалированные мотивы, календарные игры и тому подобное, то есть все, что читатель должен попытаться расшифровать, чтобы понять эту книгу (процесс, аналогичный распознаванию насекомого, несмотря на миметическую маскировку), — подчиняются той важной роли и тем требованиям, которые Набоков возлагает на читательское сознание, которое в идеале должно функционировать так же, как сознание его героев или как его собственное<sup>11</sup>.

Набоков также сделал сознание основополагающей, определяющей характеристикой человека за пределами своих художественных произведений, например, когда он сформулировал следующие краткие определения: «Время без сознания — мир низших животных; время плюс сознание — человек; сознание без времени — некое еще более высокое состояние» (III, 572)<sup>12</sup>. Хотя эта схема кажется эволюционной, немыслимый разрыв между человеком и «неким еще более высоким состоянием», который основывается на возможности какой-то формы бытия вне времени, предполагает в равной степени непреодолимый барьер между человеком и теми существами, которые находятся в иерархии ниже него, включая его «предков» по Дарвину<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Более подробно эти особенности романа рассматриваются в IV главе книги В. Александрова «Набоков и потусторонность...» (С. 132—165).

<sup>12</sup> Nabokov V. Strong pinions. P. 30.

<sup>13</sup> В своей важной лекции «Искусство литературы и здравый смысл» Набоков делает предположение, что «естественный ход эволюции никогда бы не обратил обезьяну в человека, окажись обезьяны семья без урода (freak)» (Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С. 467). Однако, как становится очевидным из лекции, Набоков считал «уродство» (freakishness) отличительной характеристикой человеческой элиты. Дальше в лекции он ссылается на свою готовность принять эволюцию «по крайней мере как условную формулу», но затем добавляет, что «одно дело — нашаривать звенья и ступени жизни, и совсем другое — понимать, что такое в действительности жизнь и феномен вдохновения» (Там же. С. 473—474). Вопрос, могут ли обезьяны сознательно пользоваться языком или нет, находится в центре спора о том, насколько они близки человеку или далеки от него. См. обзорную статью лорда Закермана о ряде книг по этим вопросам, в которой он приходит к выводу, что обезьяны не способны пользоваться языком, этим уникальным даром человека: Apes R not Us. New York, Review of Books, 1991. 30 may. P. 43—49.

Но если Набоков допускал хотя бы возможность развития человека к высшему состоянию бытия — состоянию, фактически, бесконечного сознания, — какой процесс он мог иметь в виду вместо дарвинизма? Учитывая центральную роль, которую занимает в мировосприятии Набокова интуитивное знание о сфере потустороннего, приходится предположить: каким-то образом что-то, находящееся за пределами этого мира, должно быть вовлечено в любой акт выхода человеческого «я» за свои пределы. Именно это Набоков подразумевает под «космической синхронизацией» (или «вдохновением»), которую он в ряде случаев описывает как полумистическое переживание, момент прозрения, который отмечает высшие точки существования, такие, как рождение в уме произведения искусства, вид знакомых бабочек в их естественном окружении, составление шахматной задачи или осознание любви к членам семьи: «Вы одновременно чувствуете и как вся Вселенная входит в вас, и как вы без остатка растворяетесь в окружающей вас Вселенной»<sup>14</sup>. Кроме того, космическая синхронизация — переживание, которое привело Набокова не более и не менее как к прозрению того, что «земная жизнь всего лишь первый выпуск серийной души» и что «индивидуальный секрет» человека не исчезает в процессе «истлевания плоти»<sup>15</sup>.

Однако, как кажется, Набоков был слишком увлеченным натуралистом, привязанным к этому миру, чтобы положиться исключительно на веру в неуловимое, но могущественное запределное, пытаясь понять механизм человеческой эволюции. Гипотетический процесс, который он предлагает в «Память, говори», по сути дела, ставит дарвинизм с ног на голову. После рассуждений о чудесах сознания ребенка, он переходит к тому, как могло функционировать сознание примитивного человека. Подразумеваемая параллель наводит на мысль о том, что Набоков, возможно, основывается на теории Эрнста Геккеля, согласно которой развитие индивида повторяет эволюцию вида (с той очевидной разницей, что теория Геккеля была создана в поддержку Дарвина). Делая типичный для него акцент на идеи о внезапном рывке сознания, Набоков утверждает, что «юное человечество», наверное, испытало «радостное потрясение», отметив такое явление, как «чудотворная» природа объекта в полете, который «пожирает пространство простым постоянством вращения, — вместо того, чтобы передвигаться, раз за

---

<sup>14</sup> Набоков В. Искусство литературы и здравый смысл. С. 474.

<sup>15</sup> Там же. С. 472. См. также: Александров В. Е. Набоков и потусторонность... С. 37—41, 142—144.

разом вздымая тяжелые конечности» (V, 576). Другими словами, Набоков предполагает, что человеческое сознание, должно быть, развились в результате перцепционных и когнитивных скачков, а не в результате предшествовавшей органической эволюции, которая создает материальную основу или потенциал для этих скачков. Именно это имеет в виду Набоков, когда в том же абзаце он персонифицирует «юное человечество» в «мечтательном маленьком варваре» и заставляет его всматриваться в «костер... или неуклонный ход лесного пожара» (V, 576). Но как наследие такого когнитивного опыта сохраняется для последующих поколений? Гипотеза Набокова заключается в том, что когнитивные скачки «варвара» не могли пройти без долговременных последствий и, должно быть, повлияли «за спину Ламарка на хромосому-другую, повлияли загадочным образом, в который западные генетики не склонны вникать...» (V, 576). Таким образом, эволюционный механизм, предлагаемый Набоковым для человека, — это, похоже, модифицированный ламаркизм: он не говорит, что организмы, реагируя на стимулы в окружающей среде, развиваются новые физические черты и передают их своему потомству; он считает, что более развитое сознание становится частью человеческого наследия вследствие неизбежных столкновений уникального человеческого ума и внешнего мира. Такая позиция в корне отличается от дарвиновского утверждения, что случайные генетические изменения приводят к появлению черты, которой благоприятствует естественный отбор, если она повышает способность индивида к выживанию.

Конечно, Набоков не был систематическим философом, и нет причины ожидать, что в его работах будет четкое разграничение между потусторонними влияниями и относительной важностью приобретенных характеристик для человеческого развития и эволюции. Говоря о себе, он иногда намекал, что его сущность была сформирована за пределами этого мира. В «Память, говори» он приходит к выводу: «ни в среде, ни в наследственности не могу нашупать тайный прибор, сформировавший меня, безымянный каландр, оттиснувший на моей жизни некий замысловатый водянной знак» (V, 330). В одном из ранних русских стихотворений, в котором используется тот же образ — водянной знак — Набоков более определенно говорит о происхождении основы своего «я»: он представляет себе, что когда его душу поднимут из земного мрака и поднесут к свету, «просияет» «узор, придуманный в раю»<sup>16</sup>. С другой стороны,

---

<sup>16</sup> Набоков В. Смерть // Набоков В. Стихи. Ann Arbor, 1979. С. 130.

в «Память, говори» Набоков постоянно стремится отыскать общие с родителями черты характера, — особенно с матерью, а также пророческие параллели с жизнью членов своей семьи. Сходство кажется в некотором смысле наследственным, даже если в конечном итоге его истоки оказываются в области, находящейся за пределами материального мира. Точно так же, в «Дарре» в представления Федора о характере и достижениях глубоко чтимого им отца входит устойчивое ощущение, что он унаследовал часть таинственных даров отца, которые явно получены благодаря контакту с потусторонним миром, а не просто как следствие реального влияния, испытанного в детстве.

Таким образом, антидарвинизм Набокова принимает довольно неожиданную форму по сравнению с теми возражениями, которые появились вскоре после опубликования «Происхождения видов». С одной стороны, он возражает Дарвину, поскольку разделяет широко распространенное и древнее, берущее начало по крайней мере в Библии (Рим 1, 20), убеждение в том, что творческий замысел в природе — свидетельство существования трансцендентного творца, хотя этот телеологический довод получает у него своеобразное преломление. Но, с другой стороны, Набоков не приводит возражений против того железного детерминизма, который многие считали неизбежно связанным с естественным отбором. Вместо того, чтобы настаивать на абсолютной свободе как на человеческом идеале, Набоков парадоксальным образом прославляет способность человеческого сознания постоянно расширять пределы своих возможностей, но всегда — в контексте таинственного мира потусторонности, который является как стимулом, так и пределом для возможностей человека и для областей применения его способностей<sup>17</sup>.

*Перевод с английского  
Татьяны Стрелковой*



<sup>17</sup> Вопрос об отношении Набокова к свободе и детерминизму осложняется тем фактом, что, хотя он провозглашал свою веру в первую, его романы полны доказательств последнего. Более подробно об этом см.: Александров В. Е. Набоков и потусторонность... С. 56—57, 285 (примеч. 48), 294 (примеч. 16).